

РИНА МАНОВА

Хижина у Совиного ручья

Шесть вёрст по снегу — к тому, кого не ждала



РОМАН

18+

Рина Манова

Хижина у Совиного ручья

<https://litres.ru/74681053>

SelfPub; 2026

Аннотация

Семь лет Есения живёт одна в лесной хижине у Совиного ручья. Её собеседники — ворон, лиса и старый филин, а люди давно стали для неё чужими. Но однажды, собирая грибы, она находит на дне оврага бездыханное тело незнакомца и тащит его шесть вёрст на волокуше сквозь осенний лес.

Долгая зима, жар, шов лесничихи, ночи у печи — и любовь, которой не было ни в одной из её сорока трёх книг.

А потом Матвей просыпается в своей квартире в Петербурге. Врачи уверяют: никакой девушки не было, это бред, защитная фантазия. Только шрам на лбу зашит старинным швом, а в больничном пакете лежит медное кольцо на суровой нитке.

Он отправится на поиски. Против лжи, против человека, которого считал братом, против огня, что подбирается к Совиному ручью. Ведь филин ухает для всех, кто ждёт.

Роман о любви, которая сильнее сомнений, и о том, что настоящее не исчезает, даже если все говорят, что тебе приснилось.

Содержание

Глава 1. Хижина у Совиного ручья	4
Глава 2. Зима без них	16
Конец ознакомительного фрагмента.	24

Рина Манова

Хижина у Совиного ручья

Глава 1. Хижина у Совиного ручья

Утро в лесу начиналось не с солнца, а с ворона.

Тимофей сажился на конёк крыши ещё затемно, когда над ельником только-только проступала серая полоса, и принимался ворчать - сначала тихо, будто про себя, потом громче, с хрипотцой, с перекатом в горле, словно старый дед, у которого затекла спина. Он топтался по дранке, стучал клювом в печную трубу и, если Еся не откликнулась, слетал на подоконник и бил в стекло так, что звенела рама.

- Слышу, слышу, - сказала она в темноту, не открывая глаз. - Не бранись.

Ворон замолчал, но не улетел. Она знала: сидит, склонив голову набок, и смотрит одним глазом сквозь мутное стекло, проверяет, правда ли проснулась. Тимофею было лет одиннадцать, а может, и больше - отец подобрал его ещё вороненком с перебитым крылом, когда Есе было столько же, сколько теперь этому ворону. Крыло срослось криво, летал Тимофей тяжело, боком, но улетать насовсем так и не захотел. Он считал хижину своей, а людей в ней - чем-то вроде собственной стаи, бестолковой и бескрылой, за которой нужен глаз

да глаз.

Еся откинула лоскутное одеяло и опустила ноги на пол. Половицы за ночь выстыли, и холод сразу взялся за пятки. Октябрь в этом году пришёл рано и сразу всерьёз: по утрам на мху лежал иней, вода в кадке у крыльца затягивалась тонкой, как слюда, корочкой, а берёзы у ручья стояли уже почти голые, только на макушках трепетали последние жёлтые монетки.

Она нащупала на лавке шерстяные носки, натянула их, потом валенки с обрезанными голенищами, накинула поверх ночной рубахи старую отцовскую телогрейку. Телогрейка была ей велика, рукава приходилось подворачивать дважды, но Еся всё равно носила её каждое утро. От ватника давно уже не пахло отцом - ни табаком, ни дёгтем, ни смолой, - он пах только ею самой, дымом и сушёной мятой, но рукава всё ещё помнили форму его локтей, и это было почти как объятие.

Печь остыла не до конца. Еся открыла заслонку, пошевелила кочергой золу и нашла под ней несколько живых углей - красных, тихо дышащих. Подложила бересты, сухих лучинок, раздула. Огонь проснулся неохотно, лизнул бересту, свернул её в трубочку, потом вдруг зашумел, загудел в трубе, и по стенам побежали тёплые отсветы.

Хижину построил её отец, Тихон Лукин, двадцать четыре года назад - ещё до того, как Еся родилась. Он сам рубил сосны на склоне за ручьём, сам ошкуривал брёвна, сам вязал

углы «в лапу», как когда-то учил его дед. Изба получилась небольшая, но ладная: одна комната с печью посередине, сени, кладовка, крыльцо под навесом. Окна на три стороны - на восход, на полдень и на ручей. Отец говорил, что окно на север прорубают только те, кто любит смотреть на свою тоску, а он свою тоску оставил в городе, вместе с прежней жизнью.

О прежней жизни родители рассказывали мало. Еся знала только, что мать, Варвара, когда-то училась в Петрозаводске на биолога и приехала в эти места летом, на практику, - описывать северные мхи и лишайники. Что отец был тогда лесничим в Камышовке, большом селе за сорок километров отсюда, и что они встретились у старой гати, когда мать провалилась в болото по пояс, а отец вытаскивал её за ремень полевой сумки и ругался такими словами, каких она никогда прежде не слышала. А потом в Камышовке что-то случилось - что-то тёмное, о чём отец не говорил никогда, а мать говорила только шёпотом и только одно: «Люди его обидели, Есенька. Сильно обидели. А лес не обижает. Лес честный».

И они ушли в лес. Насовсем.

Еся поставила на плиту чугунок с водой, бросила в него горсть сушёной брусники, щепоть иван-чая, два листика смородины. Пока вода закипала, она умылась над тазом ледяной водой, растёрла щёки ладонями до красноты и, глядя в маленькое зеркальце, вмазанное отцом в простенок, расплела на ночь заплетённую косу.

Из зеркала на неё смотрела девушка, которую она так и не научилась считать красивой - потому что не с кем было сравнивать. Скуластое лицо, загорелое даже к осени. Глаза серые, с прозеленью, как вода в ручье под ольхой. Брови тёмные, густые, отцовские. Волосы - материны: русые, тяжёлые, ниже пояса, такие густые, что расчёсывать их приходилось по частям, а когда Еся мыла их в бане, они сохли до самого вечера. Мать когда-то говорила, что с такими волосами в старину девушек сватали без приданого. Еся смеялась тогда: кто её посватает, медведь?

Теперь она не смеялась. Ей было двадцать два года, и за последние семь лет она видела людей ровно одиннадцать раз - когда ходила в Камышовку сдавать ягоды и сушёные грибы в лавку бабы Нюры. Одиннадцать раз - и каждый раз возвращалась домой так быстро, как только несли ноги, потому что люди смотрели на неё, как на диковинного зверя, вышедшего из чащи, а она смотрела на них - так же.

Чай заварился. Еся налила себе в глиняную кружку, отрезала ломоть ржаной лепёшки, которую пекла позавчера, и вышла на крыльцо.

Лес стоял тихий, сизый, весь в инее. Совиный ручей, давший имя этому месту, шумел внизу, под обрывом, - неглубокий, быстрый, с каменистым дном и тёмными омутками под корнями. Над ним клубился пар. На той стороне, на старой сухой сосне с расщеплённой вершиной, жил филин. Еся звала его Дедом. Дед жил здесь дольше неё, дольше хижины,

а может быть, дольше самого леса - так ей казалось в детстве. Сейчас он, конечно, уже спал в своём дупле, а ночью снова будет ухать, низко и глухо, так что вздрагивают стёкла: «Угу-у... угу-у...»

Тимофей слетел с крыши на перила и требовательно каркнул.

- Держи, разбойник.

Она отломила ему кусок лепёшки. Ворон схватил его, отскочил на дальний край перил, прижал лапой и принялся долбить, косясь на неё недоверчиво, будто она могла передумать.

Внизу, у поленницы, что-то шевельнулось. Рыжий бок, белый кончик хвоста. Огнёвка.

Лисица появилась у хижины прошлой весной - хромая, худая, с передней лапой, раздробленной капканом. Капкан был чужой, браконьерский, Еся нашла его потом в двух верстах отсюда, на звериной тропе у Сухого лога, вырвала из земли вместе с цепью и утопила в болоте. А лиса два дня лежала под крыльцом, скалилась, не давалась в руки, и только на третий, совсем ослабев, позволила себя взять. Еся промыла рану отваром ромашки и тысячелистника, вправила, как умела, кости, наложила лубок из двух ровных щепок и туго забинтовала полосами от старой материной юбки. Лиса прожила в сенях почти месяц. Кусалась. Рычала. Однажды прокусила Есе ладонь до кости. А потом лубок сняли, лапа срослась - неровно, но крепко, - и Огнёвка ушла. Но с тех пор

возвращалась. Раз в несколько дней - посидеть у поленницы, посмотреть, получить рыбью голову или кусок требухи, если Еся ставила верши. Не ручная. Но и не чужая.

- Здравствуй, рыжая, - тихо сказала Еся.

Лиса шевельнула ушами и не ушла. Это было больше, чем «здравствуй».

В этом лесу у Еси было много таких знакомых. Ёж, который каждое лето жил под банькой и топал по ночам так, будто там ходил человек в сапогах. Лосиха с белой отметиной на лбу, которую Еся три года назад выпутала из брошенной кем-то проволоки - с тех пор лосиха приходила к ручью каждую осень, иногда одна, иногда с телёнком, и подолгу стояла в ольшанике, глядя на хижину. Семья белок в старой ели за баней. Зайчиха, повадившаяся объедать капусту на огороде. Глухари на дальнем току, которых Еся слушала каждую весну, затаившись в кустах до рассвета. Даже медведь - большой, бурый, старый, - один раз прошёл мимо хижины по краю обрыва, не останавливаясь, только повернул голову, посмотрел на неё, сидевшую на крыльце, долгим рассеянным взглядом, и пошёл дальше. Отец тогда сказал бы: «Признал хозяйку». Но отца уже не было.

Еся допила чай, вернулась в дом и стала собираться.

Осень - главное время. Летом лес кормит сам, бери да не ленись, а осенью нужно успеть взять то, что будет кормить зимой. В кладовке уже стояли ряды берестяных туесков с мочёной брусникой, кадушка с солёными груздями, мешки су-

шёных белых и подберёзовиков, связки лука, которые Еся выращивала на крошечном огороде за баней, кринки с топлёным медом из диких бортей, мешочек ржаной муки, купленной ещё летом в Камышовке на деньги за чернику. Под полом, в холодном погребе, лежала картошка и морковь. На чердаке сушились травы: зверобой, душица, чабрец, пижма, багульник, корень валерианы, кора ивы, сосновые почки, листья брусники и толокнянки. Мать научила Есю различать их ещё до того, как научила читать. «Вот это - от жара, вот это - от кашля, вот это - чтобы рана не гнила, а вот этого, доченька, никогда не трогай, это смерть».

Но клюква ещё не была собрана. И опять на старых вырубках за Чёрным логом шли последней, поздней волной, - Еся видела их там в прошлое воскресенье, целые семьи, золотистые, плотные, облепившие пни так густо, что не видно было коры. Ещё неделя - и ударят настоящие морозы, и тогда всё, до весны.

Она надела шерстяную юбку поверх штанов, толстый свитер, отцовскую телогрейку, повязала голову платком. Взяла большую корзину, нож, холщовый мешок, моток верёвки, - без верёвки отец в лес не ходил никогда и её приучил. Сунула в карман коробок спичек в жестяной банке, ломоть лепёшки, луковицу. Закинула за плечо старую двустволку - не для охоты, она не охотилась, - а так, на всякий случай. В лесу бывают разные встречи.

У крыльца остановилась, как останавливалась каждый

раз, и повернулась к двум берёзам на пригорке за огородом.

Под берёзами лежали два камня. Не надгробия, просто два гладких валуна, которые Еся семь лет назад прикатила с ручья и поставила в изголовье. На одном отец ещё при жизни выбил стамеской: «ВАРВАРА». На другом выбивала уже она сама, неумело, три дня, сбивая в кровь пальцы: «ТИХОН».

- Я за клюквой, мама. И за опятами, к Чёрному логу. К вечеру вернусь.

Берёзы молчали. Ветер шевельнул ветки, сбросил несколько жёлтых листьев на камни.

- Знаю, что далеко. Но я осторожно. Я всегда осторожно.

Она и правда всегда была осторожна. Семь лет одна - неосторожные в лесу так долго не живут.

Тропа к Чёрному логу шла сначала вдоль ручья, по высокому берегу, через светлый сосновый бор, где под ногами пружинил белый мох-ягель и пахло смолой даже в холод. Потом сворачивала на восток, спускалась в низину, где стояли старые замшелые ели, тёмные, неподвижные, обвешанные бородами лишайника. Мать называла эти лишайники «бородой лешего» и рассказывала, что они растут только там, где воздух совсем чистый, где нет никаких городов и машин на сотни вёрст. Еся тогда спросила: а что такое «сотни вёрст»? И мать долго думала, а потом сказала: «Это значит - очень далеко. Так далеко, что можно идти всю жизнь».

Еся шла быстро, привычно, ставя ноги так, чтобы не хрустнула ветка, - тоже отцовская наука. Лес вокруг жил

своей утренней жизнью: где-то в вершинах пересвистывались синицы, сойка орала, предупреждая всех о человеке, по стволу осины сновал поползень, вниз головой, словно для него не существовало земного притяжения. Под ногами шуршали листья. Иней таял на солнце, и с ветвей падали тяжёлые холодные капли - за шиворот, на лицо, на руки.

На болоте за низиной клюква лежала красными рассыпями прямо на мху - крупная, тугая, тронутая первым морозом, от которого она становится слаще. Еся собирала её, стоя на коленях, горсть за горстью, и мысли её, как всегда в такие минуты, уходили далеко - туда, куда она не любила их отпускать.

В последнее время это случалось всё чаще. Особенно по вечерам, когда темнело уже к пяти, и долгие часы до сна нечем было заполнить - она перечитала все материны книги по многу раз, все сорок три, от «Определителя высших растений Карелии» до потрёпанного «Евгения Онегина» без обложки. Она знала их почти наизусть. Знала, что Онегин дурак, а Татьяна - бедная, но сильная, и что любовь, наверное, - это что-то такое, от чего не спят ночами и пишут письма. Только писать ей было некому.

Иногда, особенно зимой, когда за окном выла метель и Тимофей прятался в сених, ей начинало казаться, что весь мир уже кончился. Что за лесом ничего нет - ни Камышовки, ни Петрозаводска, ни тех городов, о которых рассказывала мать, где дома в двадцать этажей и по улицам ездят троллей-

бусы, похожие на синие сундуки на колёсах. Что она одна - последняя. Как филин Дед на своей мёртвой сосне.

Тогда она выходила на крыльцо, под звёзды, и кричала в лес - просто так, без слов. И лес отвечал эхом. И от эха становилось ещё страшнее, потому что эхо - это тоже только ты сама.

Еся тряхнула головой, отгоняя мысли, и встала с колен. Корзина была полна наполовину. Хватит на клюкву. Теперь опять.

Чёрный лог начинался за болотом. Глубокий овраг с крутыми глинистыми склонами, заросший ольхой, черёмухой и малинником, по дну которого бежал безымянный ручеёк, впадавший потом в Совиный. Логом его прозвали за то, что солнце в него почти не заглядывало: даже в июльский полдень там стоял сырой полумрак, и пахло прелью, грибами и холодной глиной. Отец не любил это место. Говорил, что склоны там коварные - после дождей глина плывёт, и можно съехать вниз вместе с деревом. А ещё говорил, что лет тридцать назад в логу пропал охотник из Камышовки, и нашли его только весной.

Еся не боялась Чёрного лога. Она вообще мало чего боялась в лесу. Но всегда помнила отцовские слова и всегда шла по самому краю, по старой лосиной тропе, где корни сосен держали землю крепко, как переплетённые пальцы.

Солнце поднялось уже высоко и светило сквозь голые берёзы косо, золотыми полосами. Пахло дымом - странно, от-

куда здесь дым? - нет, просто прелым листом, грибами, холодом. Где-то далеко, на западе, за много вёрст, глухо прогудело - то ли гром запоздалый, то ли самолёт. Самолёты Еся видела иногда: серебристые крестики высоко в небе, тянущие за собой белые нитки. Отец говорил, что в каждом таком крестике сидит по двести человек и все они летят куда-то, торопятся, и никто из них никогда не узнает, что внизу, под ними, стоит хижина у Совиного ручья и на крыльце сидит девочка с косой и смотрит вверх.

Она шла по краю оврага, высматривая опята, и думала о том, что вчера ночью был сильный ветер - с юго-запада, сырой и злой, с дождём вперемешку со снегом. Деревья стонали до самого утра. В такие ночи Еся спала плохо: всё казалось, что в шуме ветра кто-то кричит. Она даже вставала один раз, выходила в сени, прислушивалась. Но кругом был только лес - гудящий, качающийся, тёмный. И Дед молчал на своей сосне, что было совсем уж странно: филин всегда ухал в непогоду.

Сейчас лес был тихий, умытый, как после бани.

Еся увидела опята - большую семью, облепившую ствол поваленной осины на самом краю склона, - и опустилась на колени, доставая нож. Срезала по одному, аккуратно, оставляя корешки в древесине: мать учила, что грибница - это как корень у дерева, её нельзя рвать, иначе на будущий год ничего не вырастет.

И тогда сойка, сидевшая над ней на ольхе, вдруг заорала

- не так, как кричит сойка на человека, а иначе: резко, тревожно, захлёбываясь.

А следом за ней, хрипло, с надрывом, где-то совсем рядом каркнул Тимофей. Ворон увязался за ней, как это иногда бывало, и теперь кружил над оврагом, тяжело, боком, низко-низко, почти касаясь крылом верхушек ольхи. Кружил над одним и тем же местом. И кричал.

Еся подняла голову.

Ворон так кричал только однажды - семь лет назад, в апреле, над чёрной водой разлившейся реки.

Она положила нож в корзину, медленно поднялась на ноги и подошла к самому краю оврага, туда, где рыжая глина была свежей, разрытой, и молодая ольха лежала вывернутой с корнем, будто по склону сверху вниз проволокли что-то тяжёлое.

И посмотрела вниз.

Глава 2. Зима без них

Семь лет назад весна пришла внезапно, будто кто-то распахнул дверь.

Ещё в конце марта лес стоял по пояс в снегу, а в первых числах апреля с юга подул тёплый влажный ветер, и за три дня всё поплыло. Снег осел, почернел, пошёл ручьями. С крыши хижины днём и ночью лило, как из ведра. Совиный ручей, обычно смирный, вздулся, побурел и ревел под обрывом так, что в доме дрожали кружки на полке. А дальше, за сосновым бором, в двух верстах к югу, пошла Лумба - большая лесная река, в которую впадал их ручей. Пошла страшно: с треском, с гулом, со стоном ломающегося льда, который слышно было даже в хижине.

Есе было пятнадцать. Она стояла на крыльце, слушала этот далёкий гул и чувствовала, как внутри что-то сжимается.

- Не бойся, - сказал отец, проходя мимо и трепля её по голове. - Это лес чистится. Каждый год так.

Но в тот год было не так, как каждый.

На Лумбе, у излучины, у отца стояла лодка - старая, смолёная, вытащенная на берег и перевёрнутая вверх дном ещё осенью. Лодка была их единственной дорогой к Камышовке летом: по Лумбе, а потом по протоке - шесть часов на вёслах против полутора дней пешком через болота. Отец берёт

её, как берегут коня. А в ту весну вода поднялась выше, чем он рассчитывал, и на четвёртый день половодья он сказал за завтраком:

- Схожу к излучине. Как бы лодку не унесло.

Мать посмотрела на него долгим взглядом. Она тогда уже болела - всю зиму кашляла, сухо, надсадно, по ночам, и похудела так, что кольцо, которое отец когда-то сделал ей из медной проволоки, болталось на пальце. Но в то утро она сидела прямо и смотрела на него так, как смотрят, когда хотят остановить, но знают, что не остановят.

- Тиша. Не ходи.

- Варя, без лодки нам летом никак. Я только гляну. Если что - привяжу повыше и назад.

- Тиша...

Он поцеловал её в макушку, потом Есю в лоб - колюче, бородой, как всегда, - взял топор, верёвку и ушёл. Тимофей полетел за ним. Ворон всегда летал за отцом.

Еся помнила, как стояла у окна на полдень и смотрела, как отцовская спина в серой телогрейке мелькает между стволами - всё меньше, меньше, - а потом пропадает совсем. Помнила, как мать закашлялась у печи, долго, мучительно, и потом сказала тихо, ни к кому не обращаясь:

- Господи, сохрани его.

Мать не верила в Бога. Никогда. Она верила в мхи и лишайники, в фотосинтез, в круговорот веществ в природе - так она сама говорила. Есе стало страшно от этих слов боль-

ше, чем от рёва реки.

Отец не вернулся ни к обеду, ни к вечеру.

В сумерках прилетел Тимофей. Он не сел на крышу, как обычно, а бился в окно - крыльями, клювом, всем телом, - и кричал. Так, как Еся никогда прежде не слышала. Как кричит не птица, а человек.

Она выбежала на крыльцо. Ворон взлетел, отлетел шагов на двадцать, сел на ветку, снова закричал. Снова взлетел. Он звал.

- Сиди дома! - крикнула мать, но Еся уже бежала.

Она бежала через сосновый бор в темноте, по колено в мокром снегу, падала, вставала, и всё время слышала над собой хриплый крик ворона. Добежала до Лумбы, когда уже совсем стемнело. Река была огромной - шире, чем Еся когда-либо видела: она залила луга, ушла в лес, и по чёрной воде с шорохом и скрежетом плыли льдины - белые, серые, громадные, как крыши домов. Тимофей кружил над водой, над одним местом у излучины, где из реки торчала верхушка затопленной ивы. Кружил и кричал.

Лодки на берегу не было. Отца - тоже.

Еся звала его до хрипоты. До тех пор, пока голос не пропал совсем и из горла не стал выходить только сиплый шёпот. Потом сидела на мокром пне у самой воды, обхватив колени, и смотрела, как льдины идут и идут мимо, бесконечно, равнодушно, одна за другой. Под утро за ней пришла мать - бледная, задыхающаяся, в одном платке поверх ночной ру-

бахи, - и увела домой.

Отца нашли через одиннадцать дней. Не нашли даже - Лумба сама вернула его, когда вода начала спадать: вынесла на песчаную косу в трёх верстах ниже по течению, рядом с перевёрнутой лодкой. Наверное, он пытался удержать её, когда лёд пошёл, - так потом решила мать. Наверное, верёвка захлестнула руку. Наверное, льдина ударила. Наверное. Никто не знал.

Они похоронили его вдвоём под берёзами на пригорке. Мать выбрала это место - сказала, оттуда видно и ручей, и дом. Могилу копали два дня: земля ещё не оттаяла до конца, и под тонким слоем грязи лежал лёд. Мать копала, сколько могла, потом садилась на край и кашляла, а Еся продолжала одна, стиснув зубы и не позволяя себе плакать, потому что если бы она заплакала, то уже не смогла бы остановиться и не докопала бы.

Заплакала она потом. Ночью. Беззвучно, в подушку, чтобы не слышала мать. А мать, оказывается, слышала - и плакала тоже, за перегородкой, так же беззвучно. Они узнали об этом только через много недель, когда уже могли об этом говорить.

Лето того года Еся помнила кусками. Как будто кто-то вырвал из книги половину страниц, а остальные перепутал.

Помнила, как мать учила её рубить дрова: «Не силой, Есенька, - глазом. Найди трещину. Дерево само скажет, где ему расколотся». Как учила ставить верши в ручье, солить

грибы, коптить рыбу, чинить крышу, точить топор на мокром камне. Как сидела вечерами на крыльце, закутанная в два платка даже в июльскую жару, и диктовала ей - что от чего, что когда, что где. Будто торопилась. Будто знала.

Она и знала.

- Может, в Камышовку? - спросила однажды Еся. - Там врач есть. Баба Нюра говорила, фельдшерица.

Мать покачала головой.

- Не дойду я, доченька. Сорок вёрст. Через Гнилое болото. Ты меня не дотащишь, а я не дойду.

- По реке, на...

И осеклась. Лодки больше не было.

Мать взяла её за руку. Рука была горячая и сухая, как берёзовый лист в августе.

- Слушай меня, Есения. Слушай и запоминай, я два раза говорить не буду, сил нет.

Еся кивнула.

- Когда меня не станет - а станет скоро, не реви, я знаю, о чём говорю, я биолог, - ты можешь остаться здесь. Ты справишься. Ты сильная, ты в отца. Лес тебя знает, и ты его знаешь. Но запомни: человек не должен жить один. Не может. Он может выжить, но жить - нет. Это как дерево без леса: стоит, но ветер его рано или поздно свалит.

- Мам...

- Подожди. - Мать прикрыла глаза, отдышалась. - Твой отец ушёл от людей, потому что люди сделали ему очень

больно. Там, в Камышовке... Был один человек. Рогов. Лесом торговал, вывозил его без всяких бумаг, целыми эшелонами. Отец твой, лесничий, его поймал и написал куда следует. А Рогов... Рогов сделал так, что виноватым оказался отец. Сгорела контора лесничества, и в ней - сторож, старик Пахомыч. Рогов сказал, что это Тихон поджёг, чтобы спрятать, что сам воровал. Бумаги нашлись, свидетели нашлись. Его бы посадили, Есенька. Надолго. Мы ушли ночью. И с тех пор...

Она закашлялась. Долго, страшно. Еся держала её за плечи и чувствовала под ладонями каждую косточку.

- С тех пор мы здесь, - договорила мать хрипло. - Отец не простил. Ни Рогова, ни людей, которые поверили. Но я тебе так скажу: не все люди такие. Далеко не все. Есть баба Нюра. Есть... Есть, наверное, и другие. Ты не бойся их. Когда-нибудь - не сейчас, может, через год, может, через десять, - уходи к людям. Или...

Она вдруг улыбнулась - слабо, но по-настоящему, впервые за много месяцев.

- Или люди придут к тебе. Так тоже бывает. Я ведь тоже когда-то пришла к твоему отцу из ниоткуда. Провалилась в болото у его гати, и он меня вытащил. И всё.

Она помолчала.

- У бабы Нюры, в Камышовке, хранится свёрток. Я отдала его ей ещё в тот год, когда ты родилась. Там твоё свидетельство. Ты ведь родилась не здесь - я ходила рожать в Камы-

шовку, к фельдшерице, в мае, и баба Нюра меня потом выхаживала. Ты записана. Ты есть, Есения Тихоновна Лукина. Ты не лесной зверёк. Запомни.

- Запомню.

- И ещё. В сундуке, под книгами, - мои письма. Я писала их тебе, пока болела. На каждый год - по одному. Открывай в свой день рождения. Только не раньше. Обещай.

- Обещаю.

Мать умерла в конце августа, тихой ночью, когда в лесу падали первые листья и Дед ухал на своей сосне особенно низко и долго. Еся спала рядом, на полу, у кровати, - последние недели она всегда так спала, - и проснулась от тишины. От того, что больше не слышно было хриплого, натужного дыхания, которое она слушала каждую ночь, считая вдохи, как другие считают овец.

Она похоронила мать рядом с отцом. Одна. Копала три дня - земля в августе была мягкой, но Еся была одна, и ей было пятнадцать, и руки у неё к концу третьего дня стали как чужие.

А потом пришла зима.

Первую зиму Еся почти не помнила - только холод и голод. Она плохо рассчитала запасы: не знала, сколько нужно одному человеку на всю долгую северную зиму, а до весны оставалось бесконечно далеко. Дров тоже не хватило - к февралю пришлось ходить за сушняком в лес по пояс в снегу, на самодельных лыжах, которые отец сделал ей когда-то из двух

ровных берёзовых досок, и тащить вязанки на санках, падая и плача от бессилия. Однажды, в лютый январский мороз, когда трещали деревья и воздух звенел, она не смогла растопить печь - отсырели спички. Еся просидела всю ночь, закутавшись во все одеяла и прижимая к себе Тимофея, который в ту зиму жил в доме, и думала, что до утра не доживёт. Дожила. Утром нашла в отцовском ящике кремень и кресало, и после трёх часов попыток, с ободранными в кровь костяшками, высекла искру на трут.

С тех пор она держала спички в жестяной банке, туго закрытой, а кремень - всегда при себе, в кармане.

В ту же зиму к хижине пришли волки. Трое. Худые, серые, со светящимися в темноте глазами. Ходили вокруг дома три ночи подряд, выли, нюхали дверь. Еся сидела с двустволкой у окна, не смыкая глаз, и на третью ночь, когда один из них подошёл совсем близко к крыльцу, выстрелила - в воздух, над головой. Грохот был такой, что посыпалась сажа из печи. Волки ушли и больше не возвращались. Но после этого Еся долго не могла спать по ночам, вздрагивала от каждого шороха, и до весны так и спала сидя, у окна, с ружьём на коленях.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.